

P32598



ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

НА ВОЙНЕ

Издательство „Правда“  
Москва — 1942

КНИГУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. ПЕТРОВА ВКЛЮЧЕНО  
 НЕКОЛЬКО ОЧЕРКОВ, ПУБЛИКУЕМЫХ ВПЕРВЫЕ

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
Ваня Тренбург—Писатель-боец . . . . .	3
Начало войны . . . . .	6
Воспоминания из Заполярья . . . . .	26
Книжки . . . . .	53
Американцы и американцы . . . . .	63
«Париж» . . . . .	127
Семья . . . . .	137
Процесс блокады . . . . .	

Зам. отв. ред. И. КРУХИМОВИЧ

Отдел «Правда»	Изд. № 729
Заказ тип. 1824	Тираж 50.000 экз.
бумага 105×148 мм	Объем 3 печ. л.
43.200 тип. зн.	Подписано к печати 12/X 1942 г.
Цена 40 коп.	

Издательство «Культпросвет», Москва, Сухаревская 21

## ПИСАТЕЛЬ-БОЕЦ

Мы понесли большую потерю: погиб большой писатель и чудесный человек — Евгений Петров. Он принес в советскую литературу фантазию юга и глубоко человеческий, просветляющий душу юмор, который роднит его с традициями русских классиков. Он умел видеть; у него были не только глаза художника, но и сердце художника. Он сразу подмечал те, как бы незначительные детали, которые определяют характер человека или вещи. Он умел разбираться в сложности жизни. Он видел и нашу советскую стройку, и старый Париж, и энергию Нового Света. Нужно быть тонким наблюдателем, чтобы в стране небоскребов разглядеть одноэтажную Америку. Нужно быть настоящим художником, чтобы в шуме войны услышать лирические признания бойца-героя.

Евгений Петров был веселым человеком, влюбленным в жизнь. Его оптимизм был коренным: не программой, но природой. Ему хотелось, чтобы жизнь была еще лучше, чтобы людям жилось легче. Он об этом говорил страстно, весь загораясь. Он понимал, что мешает человеку косность, мещанство, чиновничий футляр. Он боролся с этими противниками челове-

екого. Он не был едким сатириком, он не бичевал, но в его ласковом юморе была сила, которая помогала людям крепче бороться и сильнее любить. Такому человеку жить бы да жить — создан он был для счастья. А погиб он на боевом посту, погиб потому, что любил жизнь, любил друзей, любил родину.

С первого дня войны он знал одну страсть: победить врага! Он не отошел в сторону, не стал обдумывать и гадать. Он был всюду, где был наш народ. Его видели защитники Москвы в лжие дни ноября. Он был в освобожденном Волоколамске. Как-то зимой он поехал к Юхнову, вернулся контуженный, но, как всегда, бодрый, говорил: «Юхнов возьмем...» Недавно он побывал на далеком севере, у Я был с ним, когда его спросили: «Хотел ли ты в Севастополь?» Он весь засиял: «Конечно!» Это было несколько недель тому назад. Петров знал, что дни сочтены, но он хотел донести до нашего и до всего мира рассказ о беспримерном героизме севастопольцев.

Он писал для «Правды», для «Красной звезды». Весь год войны он посылал свои очерки в Америку, они печатались в сотнях крупнейших газет. Они рассказывали американцам о доблести Красной Армии. Петров знал Америку и находил слова, которые доходили до самого сердца его заатлантических читателей. Своими телеграфными очерками он подбодрял рабочих, которые изготавливали самолеты и танки, он

придавал бодрости американским солдатам, которые готовились к дальнему плаванию и к трудному европейскому походу. Петров много сделал, чтобы открыть Америке правду нашей войны. Петров много сделал для нашей победы.

Евгений Петров писал романы вместе с преждевременно умершим Ильфом. Кто не знает «Двенадцати стульев», «Золотого тельца»? Теперь миллионы читателей романов Петрова и Ильфа сражаются за родину. Они разделят горе советских писателей. С гордостью за нашу литературу она подумают: «Евгений Петров был с нами...»

Не случайно последней главой в жизни Петрова была героическая защита Севастополя. Огонь краснотельца как бы кидает свой отблеск на черную ночь, когда ушел от нас Петров. Свое имя он связал с Севастополем — для нас и для истории.

Мы узнали о смерти писателя в трудные дни, когда враг, чувствуя свою неминуемую гибель, страшился второго фронта, напрягает все силы, чтобы прорваться в глубь России. Читатели в гимнастерках, друзья-бойцы, вспомните веселые, довоенные дни, когда вы смеялись, читая об Остапе Бендере и об автомобиле-гну. Вспомните газетные листы с рассказами Петрова о героях нашего зимнего наступления. Ваша горечь за потерю любимого писателя придаст вам силы. За все мы оплатим немцам. И за Евгения Петрова.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ.

## НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

### I

Ранней весной 1941 года я был послан газетой «Известия» в Германию, на Лейпцигскую ярмарку, в качестве представителя советской прессы.

Мне много пришлось путешествовать по миру, и довольно прилично знал Америку и Европу. В 1928 году некоторое время прожил в Берлине. В этот год Европа оправилась наконец от первой мировой войны, и Германия, восстановившая свое хозяйство на американские деньги, производила впечатление живой и деятельной страны. Она быстро набирала силы. В Берлине строились новые, современные дома, театры не испытывали недостатка ни в сборах, ни в драматургических новинках; издательства обильно выпускали немецкую и иностранную литературу; немецкая кинематография развивалась с очень большой быстротой и в то время могла, пожалуй, претендовать на первое место в Европе, если не в мире.

К нам, русским советским людям, немцы относились отлично. Помню, как-то по дороге из Мюнхена в Берлин я целую ночь проговорил с машинистом первого класса, водителем курьерских поездов. Это был весьма почтенный, чистенький старик, любивший, судя по цвету лица, выпить пива. Он некоторое время смотрел на меня, потом спросил: «Из царства Ленина?» «Да», — ответил я. И мы разговорились. О чем могут всю ночь говорить два совершенно незнакомых человека — молодой русский и старый немец, случайно оказавшиеся соседями по купе? Конечно, о мировой политике, об отношении немцев к русским, и русских к немцам, и о Вильгельме Втором, и о революции, и о Версале, и об американцах, и о том, как ужасна была война, и о том, как ужасно было поражение Германии, и о том, что хорошо было бы, чтоб война уже никогда не повторилась, и так далее, так далее.

В общем, это был довольно бессвязный разговор двух слабо разбирающихся в мировой политике средних граждан двух больших государств. Но какими мы ни были дилетантами в политике, мы все же представляли собою общественное мнение наших стран.

— Запомните, мой молодой друг, — сказал старик, торжественно поднимая указательный палец, — вся беда Германии была в том, что Вильгельм толкнул ее в войну с Россией. Бисмарк был умный человек, и он говорил, что с Россией ее надо ссориться. Вильгельм

был глупый человек, и он воевал с Россией. Я не знаю, умный я или глупый. Я обыкновенный немец. Я ни в каких этих самых партиях не состою. Но по убеждениям я националист. И я говорю вам: с Россией надо дружить, независимо от того, кто там — царь или большевики.

Мы говорили со стариком до самого утра. Казалось, не было такой темы, которой мы не затронули бы. Но я сейчас вспоминаю. Мы не говорили о Гитлере. И старик, и я уже слышали, конечно, об этом человеке. Его скандальная популярность была уже велика тогда. Но мы до такой степени не принимали его всерьез в то время, что нам и в голову не пришло говорить о нем, как о каком-то серьезном политическом явлении.

Прошло всего тринадцать лет. И вот я ехал в гитлеровскую Германию.

## II

Уже в вагоне немецкого поезда стало ясно, что Германия совсем непохожа на ту, которую я видел и знал до прихода гитлеровцев к власти. От спального вагона «Митропа» (когда-то они были образцом чистоты и комфорта) осталось одно лишь роскошное название. Потолки купе и коридора превратились из белых в какие-то бурые, обшарпанные. Полированное дерево мебели было в царапинах, пол грязноват. От

двери купе отстала длинная металлическая полоска и больно царапала тех, кто имел неосторожность к ней приблизиться. Проводник покачал головой, потрогал полоску пальцем, сделал неудачную попытку справиться с ней при помощи перочинного ножа, потом махнул рукой. Все равно... В заключение проводник обсчитал нас на несколько марок — случай, который едва ли мог произойти в догитлеровской Германии.

И уж совсем никак не могло случиться в старой Германии то, что произошло со мной в приличной берлинской гостинице на Фридрихштрассе. Если бы это случилось с кем-нибудь другим, я ни за что не поверил бы! У меня в номере гостиницы просто-напросто украли колбасу, фунта полтора московской колбасы, и булку.

На пограничной станции носильщик с нарукавной повязкой, на которой была изображена буква «П» (поляк, существо «низшей расы»), человек в лохмотьях, с истощенным серым лицом и умоляющими глазами (я никогда не забуду этих глаз), хотел поцеловать мне руку, когда я дал ему две марки. Это был раб.

Потом мы видели рабов на всем пути, до самого Берлина. Это были пленные, главным образом французы, в беретах, в красных зуавских шапочках и когда-то добротных шинелях горохового цвета. Теперь шинели были изодраны и грязны. Пленные рабы делали

свою работу медленно, негнушима, чугунами, ненавидящими руками.

Но вот Берлин. Вокзал Фридрихштрассе. Унтерден Линден. Бранденбургские ворота. Тиргартен. Знакомые прямые улицы. Они все те же. Монументальные здания. Те же здания (это было за несколько дней до большой английской бомбардировки, разрушившей центр города). Витрины магазинов. В общем, те же витрины с дамскими и мужскими модами, сигарами, шляпами, красочными проспектами заокеанских путешествий. Рестораны и пивные. Те же самые рестораны и пивные с мраморными столиками и картонными кружочками для пивных стаканов. Те же полицейские, регулирующие уличное движение. Одним словом, это был старый Берлин. Но первое впечатление длилось буквально несколько минут. С тех же, как на пластинке, опущенной в сильный раствор проявителя, стали вырисовываться контуры древней невиданной до сих пор, Германии — Германии, сжатой за горло палаческой рукой Гитлера.

На всех улицах, кроме двух—трех главных, валялся мусор. Я не верил своим глазам. Мусор в Берлине! Свежий ветерок бесцеремонно гнал по мостовым целые тучи пыли. Прохожие поминутно протирали глаза. Как в деревне. В магазинах ничего нельзя было купить. Витрины представляли собой наглухо, циничную декорацию. За прилавками пустых магазинов уныло стояли старики-хозяева или их жены. Я бодро

был в костюме штурмовика. Мне сказали, что это рейхсминистр Геббельс. Но я сразу узнал его по карикатурам. Сплющенное с боков, острое, как бы побывавшее под прессом, бородавчатое лицо выродка могло вызвать только чувство омерзения. Ни тени мысли не было выражено на этом лице. Но оно не поразило зрителей. Видимо, они давно уже к нему привыкли.

Геббельс переждал аплодисменты, которыми с привычной вялостью наградило его лейпцигское начальство, и произнес короткую бессмысленную речь, состоящую из набора ничем не связанных между собой фраз. Оратор обычно всегда пытается что-либо доказать, и для этого приводит аргументы. Геббельс ничего не доказывал и никаких аргументов не приводил, просто выкрикивал. Сначала он говорил о «величии гитлера», ничем этого «величия» не подтверждая, кроме, как об удобстве «нового порядка в Европе», все присутствующие отлично знали, что никакого «нового порядка» нет, а следовательно, не может быть и никакого удобства. Потом он говорил о «национальном социализме», о том, что в Германии уже достигнут социализм. При этом сидевший в одной со мною ложе толстый пожилой штурмовик улыбнулся, потом быстро взглянул на меня, узнал во мне иностранца и, нахмурившись, углубился в программку. Закончил Геббельс криком: «Хайль фюрер!»

И тогда толстые господа и дамы тяжело поднялись со своих мест и, вытянув вперед правую руку,

очень тихо и фальшиво, не глядя друг на друга, как будто они были голые, запели нацистский «гимн» «Хорст Вессель», унылое и бездарное сочинение, негодное даже для провинциальной оперетки. Петь полагалось три раза. Вытянутые руки выли, и я видел, как некоторые дамы и господа поддерживали свою правую руку левой.

Окончив пенне, все быстро бросились к выходу.

На улице был выстроен отряд фашистских мальчиков (не помню уже, как они там называются) и человек двадцать любопытствующих прохожих. Мальчики были тощие и бледные, в заплатах штанишках. Шел дождь, и я почувствовал к детям самую обычную человеческую жалость. Вышел Геббельс. Мальчики застучали в свои барабаны. Прохожие молчали. Геббельс сел в автомобиль и уехал. Мальчиков увели в противоположную сторону. Прохожие шли по своим делам со скучными, хмурыми лицами, типичными для современной Германии.

На этом торжество и кончилось.

Вечером суетливая и симпатичная горничная из пансиона, где я остановился, сказала мне:

— Хоть бы скорее кончилась эта война! Вам-то хорошо: вы иностранец. А вот нам...

А ведь был всего только март. Немецкие войска только входили в Болгарию.

Бедная женщина не подозревала, что война только начинается.

Какое счастье после черной, могильной Германии переехать границу! Я не отходил от окна, мимо которого, медленно поворачиваясь, бежала советская одна земля. В Минске мы были ночью. Чистый, белый фасад вокзала был ослепительно освещен. Оттуда неслась музыка. Конечно, это было просто радио, но казалось, что там, за освещенными окнами, дают бал.

Прошло три месяца — и Минск стал добычей огня. Началась война, самая разрушительная из всех, которые когда-либо велись на земле, и самая справедливая из справедливых, которые вел наш великий народ-Сов.

Прошел год войны.

Войны будут написаны томы. Пройдут годы, и наш величайший народ даст миру нового Льва Толстого, который усилит необъятную тему отечественной войны 1941-1942 годов.

Покуда же все, что издается и печатается о войне, представляется мне лишь материалами для будущих сочинений. И мне хотелось бы приложить к этим материалам и свои военные корреспонденции.



## В КЛИНУ

Положение военных корреспондентов на Западном фронте становится все более сложным. Всего несколько дней назад мы выезжали налегке и, проехав какие-нибудь тридцать километров, оказывались на фронте. Сегодня в том же направлении нам пришлось проехать около сотни километров.

Путь немецкого отступления становится довольно длинным. И этот путь однообразен: сожженные деревни, минированные дороги, скелеты автомобилей и танков, оставшиеся без крова жители. Такой путь я наблюдал на днях, когда ехал в Истру.

Но есть еще один путь — путь немецкого бегства. Его я видел сегодня. Этот путь еще длиннее и гораздо приятнее для глаза советского человека. Здесь немцы не успевали сжигать дома. Они бросали совершенно целые автомобили, танки и ящики с патронами. Здесь жителям остались хотя и загаженные, но все-таки дома. Полы будут помыты, стекла

вставлены, и из труб потянется дымок восстановленного очага.

Клин пострадал сильно. Есть немало разрушенных домов. Но все-таки город существует. Вы подъезжаете к нему и видите: это город.

Он был взят вчера в два часа. Сегодня это уже тыл. И тыл далеко не ближайший.

Что сказать о жителях? Они смотрят на красноармейцев с обожанием:

— Немцы уже не вернутся сюда? Правда? — выпытывают они. — Теперь здесь будете только вы?

Красноармейцы солидно и загадочно поднимают брови. Они не считают возможным ставить военные вопросы. Им кажется, что им самим веселым доброжелательным взглядом, пострадавшим жителям Клина, когда они придут сюда.

Взволнованный майор Гусев рассказал мне, что в деревне Поздневе, пятнадцать километров от Клина, Вера задала ему этот обычный вопрос: могут ли вернуться немцы? Майор пошутил. Он сказал, что, может быть, и вернутся. Он горько пожалел об этом. С девочкой приключился глубокий обморок. Оказывается, в этой самой деревне Поздневе немцы убили нескольких жителей и изнасиловали двух девушек.

Красная Армия не только взяла Клин. Она спасла его в полном смысле слова. Удар был так стремителен и неожидан, что немцы бежали, не успев сде-

лать то, что они сделали с Истрой, — сжечь город  
догла.

И жители не знают, как отблагодарить красноар-  
мейцев.

Наша машина застряла в сугробе. Мы вылезли,  
чтобы помочь шоферу вытащить ее. Не успели мы  
оглянуться, как машину подталкивали уже десятка  
два рук. Все, кто проходили в эту минуту мимо нас,  
бросались нам помогать. Они, перебивая друг друга,  
рассказывали, как удобнее нам проехать, где встре-  
тится яма, скрытая снегом, и в каком месте лучше  
переехать по льду реку, так как мост через нее  
взорван.

Как только в Клин вошли пим, где я. что замину  
жители сразу же рассказали им, где д. что замину  
ровали немцы и где они оставили свой

В одной из деревушек за Клином произошел слу-  
чай, столько же героический, сколько и юмористиче-  
ский.

Первыми о том, что немцы собираются бежать,  
пропыхали мальчишки. Они подкрались к немецким  
грузовикам и стащили все ручки, которыми заводятся  
моторы. Немцы рвали на себе волосы, когда поняли,  
что бежать не на чем. Но медлить было нельзя.  
Пришлось им бежать самым естественным путем —  
при помощи собственных ног. Как только в деревне  
появились наши войска, мальчишки торжественно под-

Если им ключи Машины были заведены и пущены в дело.

Побывал я и в домике Чайковского. Это была давнишняя моя мечта — увидеть то, о чем я столько раз читал: уголок у окна, где Чайковский писал 6-ю симфонию и смотрел на свои любимые три безрезки, его рояль, книги и ноты.

Лучше бы я не приходил в домик Чайковского. То, что сделали в нем немцы, так отвратительно, чудовищно, тупо, что долго еще буду я вспоминать об этом посещении с тоской.

Мы вошли в дом. Встретил нас старичок-экскурсовод А. Шапшал. Он так привык встречать экскурсантов, что даже

идя мимо экспонатов музея, что даже и без слов переполнял радостных восклицаний, он чинил перед нами по узкой деревянной лесенке и, войдя в большую комнату, сказал:

Зал, принадлежавший лично Петру Ильичу Чайковскому. Здесь, в этой нише, был устроен кабинет великого композитора. А здесь Петр Ильич любил...

Но вдруг он оборвал свою плавную речь и, всплеснув руками, крикнул:

— Нет, вы только посмотрите, что наделали эти мерзавцы!

Но мы давно уже во все глаза смотрели на то, что было когда-то музеем Чайковского. Стадо взбесившихся свиней не могло бы так загадить дом, как

загадили его немцы. Они отрывали деревянные панели и топили ими, в то время как во дворе было сколько угодно дров. К счастью, все манускрипты, личные книги, любимый рояль, письменный стол, — одним словом, все самое ценное было своевременно эвакуировано. Относительно менее ценное упаковали в ящики, но не успели отправить. Немцы выпотрошили ящики и рассыпали по дому их содержимое. Они топили нотами и книгами, ходили в грязных сапогах по старинным фотографическим карточкам, срывали со стен портреты. Они отбили у бюста Чайковского нос и часть головы. Они разбили бюсты Пушкина, Горького и Шалапина. На полу лежал портрет Моцарта со старинной гравюры с жидким немецкого сапога. Я видел собственный портрет Бетховена, сорванный со стены и брошенный на стул. Неподалеку от него нагадили. Я не верил своим глазам. Но ручаюсь своим добрым именем: нагадили офицеры нагадили на полу рядом с большим портретом Бетховена.

Повсюду валялись пустые консервные банки и бутылки из-под коньяку. На одной из бутылок была прямо-таки сшибающая с ног этикетка: «Смесь водки и рома».

А. Шапшал сказал нам, что по ночам немцы с грохотом исполняли на рояле какие-то жалкие маршики. В эти минуты им на глаза попадаться было опасно.

— Неужели вы не объяснили немецкому офицеру, что это за дом?

— Да, я объяснил. Захожу как-то сюда и говорю: «Чайковский очень любил вашего Моцарта. Хотя бы поэтому пощадите дом». Да меня никто не стал слушать. Вот я и перестал говорить с ними об искусстве. И то придешь, а они вдруг и скажут: «А ну, старик, снимай валенки». Куда я пойду без валенок? Они тут многих в Клину пораздевали. Нет, с ними нельзя говорить об искусстве!

И мы перешли к чисто бытовым делам. В одной из маленьких комнаток рядом с кухней немцы устроили уборную, то есть, вернее, использовали в качестве уборной пол этой комнаты. Двух старых женщин, живущих при домике, они совершенно терроризировали, прятая в своих денщики. Перед уходом немцы успели вывезти фортепьяно и ~~хозяйственную~~ посуду. Экспонатов они не взяли, видимо, не видя в них никакой ценности. Просто поргали и пораскидали их.

Я подошел к окну в том месте, где стоял письменный стол Чайковского и где он писал. Патетическую симфонию. Прямо за окном, рядышком, стояли три знаменитые березки. Только это были уже березы, большие, вполне «взрослые» деревья. Они остались.

Но сейчас было не до грусти. Была деятельная военная жизнь.

16 декабря 1941 г.

## ЗАПИСКИ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ

### МАЙ НА МУРМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

#### I

Эти строки пишутся в маленькой землянке, построенной на склоне горы, среди гранитных скал и мелкого, очень редкого леса. Вокруг землянки при дневном свете. В землянке горит железная печка, в которую днем и ночью подкладывают дрова, иначе подно. За маленьким окошком косо летит снег. После нескольких солнечных дней, во время которых вскрылись горные реки и ручейки и стал было таять снег температура снова упала. Начался буран. Он завалил снегом дороги, лощины, склоны гор, огневые позиции артиллерии, наблюдательные пункты, землянки и сложенные из камней пехотные окопы (окопы здесь не роятся, а возводятся). Как видите, май на Кольском полуострове, за Полярным кругом, имеет свои чисто местные особенности.

Фронтовики, проводившие здесь всю кампанию, говорят, что такого обильного снегопада не было за всю зиму. Но война продолжается. На этом далеком фронте, прилегающем к Баренцовому морю (с крайней правой его точки видны не только финляндские, но и норвежские берега), идут ожесточенные бои.

Мурманское направление — один из серьезных участков войны с Германией. Отстоять Мурманск от немцев, которые рвались туда летом и осенью прошлого года, было задачей чрезвычайно тяжелой. В июле, пользуясь, как и всюду, преимуществом морей, перешли границу и, оттеснив наши передовые части, устремились к Мурманску. Немцы стремились захватить этот единственный в Советском Союзе незамерзающий порт в течение нескольких дней. Немцы возлагали на эту операцию большие надежды. В бой они бросили две прославленные горнострелковые дивизии (2-ю и 3-ю). Все солдаты ее носили на левом рукаве мундира серебряную табличку с лавровым венком и надписью «Герою Нарвик». Кроме того в наступление были брошены четыре батальона эсэсовцев, огромных молодцов, не ниже 180 сантиметров роста. Эмблемой этих людей, читавших состояние войны единственным нормальным состоянием человека, был череп с костями. Глупые молодые звери носили черепа на фуражках, на рукавах, на портмоне, портсигарах, кольцах, — одним словом, всюду, где только возможно. И вот все эти «ге-

рой Нарвика», с приданными им Героями черепа, устремились на Мурманск. Егерями командовал генерал-майор Шернер. Пленные рассказывали, что во время первой мировой войны он был командиром взвода в той самой роте, в которой Гитлер служил писарем. Достигнув власти, писарь проникся к своему бывшему командиру внезапной симпатией (это хорошо звучало для газет), сделал его генералом и всячески заботился об этих привилегированных дивизиях. Пленные рассказывали, что часто Гитлер сносился непосредственно с Шернером через голову его начальства.

— Шернер — жестокий человек, — сказал мне один из пленных, — солдаты не любят его.

В июне немцы несколько продвинулись по долине Петсамо—Мурманск. Но дальше немцы идти не смогли. Потеряв 75% своего состава, гордые егеря остановились. Множество егерей было уничтожено в одной из ложи, которая носит с тех пор название «Долина смерти».

Фронт стабилизировался. Немцы делали еще две попытки овладеть Мурманском, в августе и сентябре, но понесли полное поражение. В сентябре немцам удалось продвинуться еще немного, но последовал наш контрудар, и немцы были не только побиты, но и отброшены на десятки километров.

Последние дни я бродил по фронту (именно бродил, потому что здесь собственные ноги — наиболее популярный способ передвижения) и теперь имею неко-

торое представление о том, что собой представляет мурманский театр войны.

Театр этот состоит из почти сплошного нагромождения покрытых снегом невысоких гор и громадных, часто четырехугольных камней. Они черные с малахитовой прозеленью. Между горами озера или лощины, по которым идут протоптанные в снегу скользкие тропинки шириною всего в одну подошву, так что идти по ним трудно, как по канату. Иногда из-под снега выступают кочки, покрытые сухим желто-зеленым мхом ягелем. В трещинах между ними, среди синего льда, течет быстрая, весенняя водица. По тяжелым дорогам идут к фронту те же люди, те же орудия и те же автомобили, что и на Западном фронте. Война, да война. Но здесь вы вдруг можете увидеть сделанное из снега стойло и гнелую лошадку, которая мирно жует сено, уткнув добрую морду в ледяную кормушку. Или, проходя в непосредственной близости от передовой линии, вы вдруг остановитесь перед зрелищем, от которого забьется сердце любого мальчика или любителя географии: с горы со скоростью мотоциклета спускается на лыжах человек в островерхой шапке и меховой малице. Он проносится мимо вас, на мгновение обернув к вам скуластое, коричневое, морщинистое лицо без признаков растительности. Это погонщик оленей, ненец, который пришел со своими оленями за 3 тысячи километров из Большеземельской тундры, чтобы воевать с немцами.

Потом вы видите стадо оленей. Они запряжены в длинные высокие варты. Олени здесь подвозят разведчикам боеприпасы и увозят в тыл раненых. Но это не олени, которых вы привыкли видеть на картинках. Это весенние олени. Рога у них уже отпали. Отрастут они только к осени. Лишь у одного сохранился на голове полый ветвистый комплект. У другого уныло торчит только один рог, покрытый на концах разветвлений нежным мехом. Пройдет два—три дня — и эти два оленя тоже лишатся своих прелестных украшений. Безрогие олени похожи на самых обыкновенных телят. Очевидно, поэтому вид у них, чемного сконфуженный.

Горное эхо далеко разносит выстрелы. Когда бьет пулемет в трех километрах, кажется, что стреляют над самым ухом.

Здесь нет населенных пунктов. Бойцы живут в лянках и палатках. Их не видно, пока не двинутся к ним вплотную: так похожи они на разбросанные повсюду камни. И только горький дымок от железных печек, свежие тропки да провода телефона напоминают о том, что здесь, в этом глухом краю, можно не только жить но и воевать.

## II

Метель продолжалась три дня. Военные действия не затихали. Они, конечно, потеряли стремительность, но самый тот факт, что они велись, дает вам пред-

ставление о неслыханном в истории ожесточении, с каким проходит эта титаническая война — не на жизнь, а на смерть.

По утрам во время метели дежурный телефонист снимает в штабной землянке телефонную трубку и, несколько не удивляясь, слышит строгий командирский голос:

— Откопайте меня. Я уже проснулся.

Командирскую палатку откапывают. Командир выходит из нее, низко согнувшись. Он разгибается и поводит богатырскими плечами. Он бодр и полон решимости. Он снимает гимнастерку и долго, с удовольствием, трет лицо и шею свежим, сухим снегом. То, что это не декабрьский снег, а майский, даже веселит командира. Можно немного пошутить на этот счет: Собственно, командир даже рад, что его палатку загалило снегом: по крайней мере, никто его не беспокоил, и можно было, наконец, вздремнуть часа два после шести бессонных ночей.

Красноармейцы раскапывают палатку соседей. Начинается боевой полярный день, ничем, впрочем, не отличающийся от ночи.

Разведчики в белых маскировочных халатах с автоматами на шее отправляются в разведку. В такую бурю можно подойти незамеченным хоть к самому генералу Шернеру. Олени увозят в тыл раненых. Артиллерия бьет по заранее пристрелянным целям. Пехота все больше смыкает кольцо вокруг небольшого

горного пространства, где на вершинах среди камней сосредоточилась довольно крупная немецкая часть. Этот выступ командование для удобства называет аппендиксом.

Этот аппендикс требовал незамедлительной операции. И она была произведена с удивительным упорством. Немцев отрезали и уничтожили. Человек тридцать солдат во главе с обер-лейтенантом сдались в плен. Сейчас еще трудно сказать, сколько немцы потеряли убитыми, так как трупы завалены снегом. Но, судя по показаниям пленных, немцы потеряли меньше батальона.

Всего же за первые дни мая немцы потеряли в этом узком участке фронта (он не превышает ширины Баренцова моря и сорока километров) более четырех тысяч человек.

Это колоссальные потери. Едва ли немцы смогут быстро оправиться от такого удара.

Интересно, что потери эти пали главным образом на 6-ю горноегерскую дивизию, которая сменила разбитые части 2-й и 3-й дивизий. Она прибыла из Нарвика. После разгрома их увели в Норвегию на отдых и переформирование. Солдат 6-й дивизии немцы горжественно называют героями Греции и Крита. Итак, «героев Нарвика» сменили «герои Крита», но они не оказались более счастливыми.

Интересна история 6-й германской горноегерской дивизии. С наглостью и самоуверенностью бандитов,

знающих, что они не встретят серьезного сопротивления, вторглись немецкие солдаты в пределы несчастной отважной Греции. Они прошли страну с быстротой, с какой нож проходит сквозь масло. «Мы прорвали линию Метаксаса!» — говорили они с гордостью.

Во время парада в Афинах 6-я дивизия шла во главе войск. Она была признана лучшей среди лучших. Это были наглые здоровые парни. Я рассматривал фотографии, найденные в их карманах. Они любили сниматься на Акрополе, на фоне Парфенона. Надо видеть этих людей в стальных шлемах с идиотски выпученными глазами рядом с классическими колоннами, под сенью которых прогуливались когда-то мудрецы — поэты!

Однако любовь к истории не долго занимала господ командиров и солдат знаменитой дивизии: они занялись более существенным делом.

— В Греции очень хорошие и дешевые женщины, — деловито рассказал мне один из пленных, — их можно было брать за кусок хлеба. Но вот мужчины — сущие черти. Того и гляди — воткнут нож в спину.

Последняя операция, проведенная в Греции командованием 6-й дивизии, была поистине очаровательна: оно просто-напросто обокрало в Афинах королевскую конюшню. Взамен королевских коней поставили в королевские стойла потрепанных в походе немецких олов.

На наш фронт дивизия являлась с такой же самоуверенностью, как и в Грецию, да еще с королевскими лошадьми. Лошади быстро подошли. После Греции они совершенно не выдерживали полярного климата. Их новые хозяева были разбиты так же, как и их предшественники.

Сейчас, во время майских боев, Шернер бросил на фронт все свои силы. Но от дивизий осталась лишь одна сомнительная слава: они либо лежат в лапландских снегах либо отлеживаются в норвежских госпиталях. Новый состав дивизий совсем не похож на старый.

«Весенний немец», как выражаются на фронте, это не очень-то верящий в победу, отупевший, конечно, глубоко несчастный человек. Он еще далеко от панического бегства. Он скатывается в силу своей покорности и привычки подчиняться. Но среди плененных уже невозможно найти убежденных гитлеровцев (в свое время их было довольно много).

Я провел несколько интересных часов в землянке, где в ожидании отправки в тыл сидело человек двенадцать немецких солдат. Они хозяйственно растапливали печку, наслаждались теплом и были очень словоохотливы.

Один из них, старший ефрейтор, тридцатилетний Бруно (фамилии я его не знаю, так как это может повредить его отцу), так рассказывал о своем пленении:

— Мне поручили отвести этого солдата в околодок, так как он был немного болен.

— Это меня, — широко улыбаясь, подтвердил солдат, стоявший рядом.

— Ладно. Помолчи, — сказал первый. — Значит, мы пошли. И когда мы шли, началась вьюга. И мы потеряли дорогу. Идем — а куда, не знаем.

— Мы все-таки думали, что идем правильно, — вставил второй солдат.

— Ладно. Помолчи, — сказал первый. — Вот идем мы, а тропинок уже никаких нет: все занесено снегом. Ну, думаю, кажется, мы заблудились. И холодно стало. Ветер. Вот, значит, мы идем и идем. Потом, посмотрим: пробежала какая-то фигура в маскировочном халате. А он говорит (Бруво показал на второго солдата), что мы, наверно, правильно пришли — к нашим тылам.

— Я так сказал, — подтвердил второй солдат, разевая рот до самых ушей.

— Он так сказал. А я говорю, что как будто так оно и есть. Потом смотрим: стоят за скалой несколько человек в белом. Спасаются от ветра. Мы пошли к ним, потому что вьюга была прямо в лицо и нам тоже хотелось укрыться от ветра. Вот, значит, мы подходим, и, когда до них оставалось пять шагов, мы увидели, что это русские.

— Выходит, мы шли как раз в противоположную сторону, — объяснил второй солдат.

— Ладно. Помолчи, — сказал первый. — Ну, только мы увидели, что это русские, мы сразу бросили винтовки и подняли руки. Я закрыл глаза в думю: «Ну, наверно, сейчас застрелят». И иду дальше вперед с закрытыми глазами.

— Но они в нас не стали стрелять, — сказал второй солдат.

— Да, они в нас не стали стрелять, — торжественно подтвердил первый.

— Как же вас приняла? — спросил я.

— O! Herzlich! — воскликнул Бруно, приложив руки к груди. — Сердечно.

— Как же все-таки?

— Нас согрели, дали чаю, покормили.

— А мы думали, что они нас убьют, — сказал второй солдат, — нам всегда говорили, что на пленных убивают.

— Да, нам так говорили, — сказал первый, — а к этому верили.

— Теперь мы видим, что это оказалось не так, — сказал второй.

— Мы не хотели сдаваться в плен, — сказал первый, — потому что мы были уверены, что нас убьют. Мы не нарочно пришли. Мы заблудились. Мы просто заблудились.

— Мы ничего не видели из-за вьюги, — подтвердил второй.

— Помолчи, — сказал первый и торжественно добавил: — Но это очень хорошо, что мы заблудились.

— Нам просто здорово повезло, что мы заблудились, — сообщил второй.

— Если бы мы знали, что нас не убьют, — продолжал первый, — мы бы пришли раньше.

— Мы бы пришли нарочно, а сейчас мы пришли случайно.

— Да, мы бы пришли нарочно. И не только мы. У нас есть очень много солдат, которые пришли бы нарочно, чтобы сдать в плен. Хотя это трудно. Но они все равно пришли бы, если бы только знали, что их не убьют.

— Они не хотят драться с русскими.

— Они не понимают, зачем им надо воевать с Россией. Пусть русские живут у себя, а мы будем жить у себя.

— Эту войну выдумал Гитлер, — сказал второй солдат.

— Это верно, — сказал первый. — Мой отец — очень умный человек. Он кузнец. И, как сейчас помню, в 1933 году, когда Гитлер взял власть, отец мне сказал: «Ну, сынок, теперь ты не должен жениться, теперь, значит, Гитлер обязательно устроит войну». Так оно и оказалось. Я не женился. И теперь мне легче, что у меня нет жены и детей. Да. Мой отец все понимал.

— Да. Жалко, что наши ребята не знают, что рус-

ские берут в плен, — сказал второй со вздохом. — Если бы они знали...

— Им там здорово забились головы, — подтвердил первый.

Впоследствии оба эти солдата выступали по радио и звали солдат из своей роты сдаваться в плен.

### III

Мы долго идем в гору, скользя по подтаявшей дороге. Иногда, желая сократить расстояние до вершины, мы идем напрямик и проваливаемся в снег до бедер. Иногда мягко ступаем по обнажившимся от снега островкам земля, покрытой сухим, серым мхом. Он зеленоватый, с небольшой желтизной. Очень любят олень. Среди мха попадаются высушенные, опавшиеся ягодки брусники.

Недалеко от вершины мы останавливаемся, чтобы немного передохнуть.

Конец мая.

С Баренцова моря дует свежий корабельный ветер. Но моря не видно. Оно там, впереди. К нему ведет залив, похожий на широкую горную реку. Солнце в зените. От его отвесно падающих лучей залив так горячо блестит, что отсюда, сверху, на него больно смотреть: огненная вода среди заснеженных гор.

На батарее готовность номер два. Это значит, что в воздухе тихо; но тем не менее надо помнить, что

враг близко и появления его нужно ожидать каждую минуту.

Стволы зениток торчат почти вертикально над землей. Люди сидят неподалеку. Один читает газету. Другой с ловкостью опытной хозяйки ставит латку на прохудившиеся рабочие брюки. Третий просто греется на солнышке, отдыхая после суровой полярной зимы. У него мечтательное выражение лица. Может быть, он думает о любимой девушке. Бойцы часто говорят о доме. Но всякий разговор о возвращении домой начинают так: «Вот побьем немца — и тогда...»

Целая группа бойцов играет с оленем по имени Лешка. Русский человек любит покровительствовать. Вероятно, поэтому на кораблях или на батареях часто приживаются коты и собаки. С ними охотно возятся, дают им вкусные кусочки, обучают их разным веселым фортелям.

Здесь, на зенитной батарее, почти с самого начала войны завелся олень. Его нашли в горах. Он, видимо, отбилсЯ от стада, заболел, ужасно отошал и еле двигался. Бойцы привели его на батарею, вылечили и откормили, назвали Лешкой.

Олень для русского человека — весьма экзотическое животное, .. то, что по батарее бегал большой отъевшийся олень с длинными ветвистыми рогами, весело и радовало людей. С ним разговаривали так, как

Обычно человек разговаривает с собакой. И Лешка, если можно так выразиться, приобрел собачий характер. Он прибегает, если его зовут, ласкается, как щенок, иногда в шутку делает вид, что хочет укусить. Иногда он уходит в горы, бродит там, вспоминая свою оленью жизнь, разгребает копытами снег и жует олений мох; но к завтраку, обеду и ужину обязательно поспекает домой.

Война не нравится ему, но он привык. Как это не странно, но, услышав выстрелы, он мчится на батарею. Там, правда, грохот сильнее, но зато все свои, а на миру, как говорится, и смерть красна. Один раз его использовали по прямому назначению: в то время мело дороги и автомобили не могли двигаться. Мы впрягли в сани, и он подвозил на батарею боеприпасы.

Есть на батарее также маленькая развлекательная собачка и жирный, совершенно апатичный кот. Кот по целым дням сидел в землянке у железной печки. Когда печка потухала, он мяукал, чтобы привлечь внимание дневального, на обязанности которого лежит подкладывать дрова. Сейчас он греется на солнышке, вытянув лапы.

Мне очень хотелось посмотреть батарею в действии.

Была объявлена тревога.

Неприятельские самолеты еще не появлялись, а на батарее уже все было готово.

«Леопардом» назывался один из истребителей в воздухе. Это не мешает ему завтра назваться «Сорокой»; «Вишней» на этот раз были мы.

И в то же мгновение самолет, которого в голубом небе почти не было видно на высоте пяти тысяч метров и находить его приходилось по белому следу, который он оставлял, сделал то, о чем просила его симпатичная «Вишня»: повернул и пошел в том направлении, откуда (на земле люди знали это точно) шли немецкие бомбардировщики. За ним повернули еще несколько истребителей.

Я видел потом, как «юнкерсы» вывалились из легких перистых облаков и камнем пикировали вниз, на землю.

Такого ясного и четкого, я бы сказал «сюжетного» сражения невозможно увидеть на земле в условиях современной войны. Трудно найти сравнение. Пожалуй, самым точным было бы сравнить такой воздушный бой с каким-нибудь наполеоновским сражением, когда полководец видит в подзорную трубу все перипетии боя, с той только поправкой, что он продолжается всего несколько минут.

За эти несколько минут действительно произошло все. Мы видели ход боя и в точности узнали его результаты.

— Bravo, зенитчики! — сказал командующий, не отрываясь от бинокля.

— Я не вижу, — пролепетал я.

— Смотрите, торчит труба, — сказал он, — возьмите чуть правее и выше.

Я увидел простым глазом падающий на землю бомбардировщик. От него отделились три парашюта. Они казались совсем маленькими.

— Посмотрите, немецкие истребители скопились слева. Они охраняют бомбардировщик при выходе из пике.

Он отдал несколько приказаний.

— Орел! Орел! — закричала под нами телефонистка взволнованным голосом. — Я — Вишня, я — Вишня...

Над нашими головами с грохотом пронеслась семерка «харрикейнов», Они шли, чтобы отрезать путь бомбардировщикам.

Очень ясно было видно, как упал еще один немецкий бомбардировщик, сбитый истребителем.

— Чорт побери! — крикнул вдруг командующий.

— Что? Что? — спросил я.

— Подбили нашего! — отрывисто сказал он, не отрываясь от бинокля.

Я увидел в бинокль, как один из ваших истребителей быстро уходил куда-то в сторону и вниз. За ним тянулся дымок.

— Пошел на аэродром, — сказал командующий, — может быть, дотянет.

Бой отдалился. Бомбардировщики ушли. Их было семь. Ушло пять. Теперь на большой высоте сражались только истребители.

— Еще один немец, — сказал генерал, — «мессерсто девятый».

Он упал на далекую снежную гору, и оттуда долго еще шел дым, как будто путники развели там костер.

Бой окончился. К командиру подошел адъютант:

— С аэродрома сообщают, что самолет сел на живот. Летчик жив. Легко ранен. Самолет требует ремонта.

— Соколов? — спросил командующий.

— Точно. Соколов, товарищ полковник.

— Хороший летчик! — сказал командующий. — Та-

... это же шутка — посадить горящую машину!

... аэродрома сообщают, что Соколов не хочет ехать в лазарет, — добавил адъютант, — просится в бо...

... через несколько минут доложили, что все немецкие бомбы попали в воду. Я вспомнил, что мы, действительно, не видели ни одного разрыва фугасок.

С постов ПВО подтвердили, что на земле обнаружены три сбитых немецких самолета. На поиски спустившихся на парашютах немцев была послана команда.

На другой день я собственными ушами слышал по радио немецкое сообщение об этом бое. Немцы сообщали, что произвели на Мурманск ужасный налет: «Город разрушен. Население в панике бежит. Потоп-

лены три парохода. Русские потеряли двадцать два истребителя. Наши потери — один самолет».

Это была даже не ложь, а нечто совершенно непонятное, патологическое.

Сперва я расстроился, даже пришел в ярость. Ведь я же видел собственными глазами! И весь город видел! А потом успокоился и даже порадовался. Если противник в состоянии так омерзительно, чудовищно врать, значит, ему плохо. Противник, теряющий самообладание, — признак хороший. Противник, теряющий чувство юмора, — совсем хороший признак.

24 мая 1942 г.

---

## КАТЯ

Катя Новикова — маленькая толстенькая девочка с круглым румяным лицом, светлыми по-мужски подстриженными волосами и черными блестящими глазами. Я помню, что когда она начинала свою фронтную жизнь, ее форма топорщилась на ней и девочка выглядела поуже и комичной. Сейчас это подтянутый, бодрый солдатик в больших, не пропускающих воды сапогах и в защитной гимнастерке, которая заправлена в широкий кожаный пояс опытной рукой. На боку у толстенькой девочки потертая кобура, из которой выглядывает выдавший виды пистолет. На красных петлицах у толстенькой девочки четыре красных треугольничка, что означает звание старшины. В иностранных армиях это звание соответствует чину фельдфебеля.

Я слышал ее историю еще задолго до того, как с ней увиделся. Слышал ее от очевидцев. И сейчас мне интересно было, как она сама расскажет о себе. Мои предположения оправдались. Катя Новикова была

истинная героиня и, как все истинные герои, с которыми мне приходилось разговаривать, отличалась большой скромностью. Я неоднократно пытался проникнуть в природу этой скромности, понять ее сущность. Ведь скромность истинных героев представляет собою не менее удивительное явление, чем их героизм. И я понял. Это не ложная скромность — родная сестра лицемерия. Это сдержанность делового человека, который не любит распространяться о своих делах, так как считает, что дела эти — не более, чем самая обыкновенная, будничная работа, правда, очень тяжелая работа, но никак не исключительная, а следовательно, лишенная, на их взгляд, интереса для посторонних. Протаранить самолет противника, направить свой горящий самолет на вражеские цистерны с бензином, забраться в тыл противника и взорвать там мост — да, это все исключительные поступки, о них стоит рассказать. А вот то, что делала на фронте Катя Новикова и что делают многие тысячи русских юношей и девушек, — это, как они считают, обыкновенная, будничная работа. И в таком вот простом понимании своей великой миссии и заключается истинный героизм.

Двадцать первого июня в одной из московских школ состоялся выпускной вечер. Девочки и мальчики праздновали свое превращение в девушек и юношей.

— Это был очень хороший вечер, — сказала Катя, — и мне было очень весело. Мы все тогда мечтали, кем

мы станем, обсуждали, в какой университет пойдем учиться. Я всегда хотела быть летчицей и несколько раз подавала заявления в летную школу, но меня не принимали, потому что я очень маленького роста. И вот в тот вечер ребята надо мной подшучивали, что я маленького роста. И нам было очень весело.

Когда в ту ночь счастливые дети, ставшие вдруг взрослыми, спали своим первым взрослым сном, на страну, которая их вырастила и воспитала, обрушились сотни тысяч тонн бомб, сто восемьдесят отборных немецких дивизий с тысячами танков устремились на мирные города, над которыми поднимался теплый дымок от бомб; посыпались с неба парашютисты с гангстерскими гистолетами-пулеметами — началась война.

Утром Катя Новикова со своей подругой Лелей пошли в военный комиссариат записываться в армию. Они бежали, сжимая свои маленькие кулачки, и, когда они стояли у стола регистрации, они сразу не могли говорить, потому что задохнулись от быстрого бега и волнения. Их не приняли в армию и посоветовали им продолжать учиться. Тогда девушки записались в отряд молодежи, который был послан копать противотанковые рвы и строить укрепления. Когда отряд прибыл на место работ, немцы уже подходили к Смоленску. Недалеко остановился полк, который следовал на передовые позиции. Очевидно, этот полк входил в резерв командования Западным фронтом. Был конец июля. Катя и Леля не

оставили своей идее попасть в армию. Они выжидали, ища удобного случая. Они постоянно разговаривали с красноармейцами и все старались выяснить у них, где расположен штаб полка. Девушки надеялись, что там их без долгих формальностей примут в полк. Но ни один боец не рассказал им, где штаб, потому что это военная тайна. Тогда девушки пустились на хитрость. Они направились прямо в расположение полка. Часовой окликнул их. Они не ответили. Он окликнул их во второй раз. Они снова не ответили и продолжали быстро идти вперед. Тогда их задержали и, как подозрительных людей, отвели в штаб. Изобретательность девушек, решившихся во что бы то ни стало проникнуть на фронт, рассмешила командира полка. Он посмеялся, потом стал серьезным, подумал немного и записал их в свой полк дружинницами. Им выдали обмундирование и санитарные сумки с красным крестом. На другой день полк выступил на фронт, и уже через несколько часов девушкам пришлось приступить к исполнению своих обязанностей. Колонну на марше атаковали немецкие пикирующие бомбардировщики.

— Мне было очень страшно, — сказала Катя, — и мы с Лелей побежали в поле и легли, потому что все так делали. Но потом оказалось, что это не так страшно, потому что во всей колонне было только несколько раненых. Мы с Лелей еще в школе обучались стрелять из пулемета и перевязывать раненых. Но командир полка сказал, чтобы о пулемете мы и не

думали. И когда мы стали перевязывать раненых, мы увидели, что обучаться — совсем не то, что делать это на войне. Мы с Лелей такие, в общем не сентиментальные девушки. А тут мы увидели раненых и так их пожалели, так пожалели, что сами перевязывали, а сами плакали и плохо видели из-за слез. Потом мы тоже всегда жалели раненых, но, когда перевязывали, уже не плакали. Только иногда мы с Лелей плакали тихо, ночью, чтобы никто не заметил, потому что мы видели столько страданий, что иногда, понимаете, просто нужно было поплакать.

14 пошла жизнь Кати Новиковой на фронте, на первом этапе том фронте, который когда-либо был на северо-западе. Она была приписана к одному из батальонов и находилась с ним в бою. Она ползла вперёд с пехотой, когда пехота шла в атаку, ходила в одиночку в глубокую разведку. Дважды она была ранена и осталась в строю. Так прошел месяц. Она свыклась со своей работой и стала, в сущности, отличным бойцом. Девушек очень полюбили в полку.

— Все вас звали к себе, — сказала Катя и засмеялась, — минометчики говорили: «Идите к нам, девушки, мы вас на миномете обучим». Артиллеристы тоже постоянно звали. Танкисты тоже. Они говорили: «Будете с нами в танке ездить, все-таки приятней». А мы с Лелей отвечали: «Нет, мы уж будем исключительно в пехоте».

Девушкам очень хотелось получить оружие. И вот

однажды раненый лейтенант, которого Катя вытащила из боя, подарил ей пистолет и три обоймы.

— Но потом была большая неприятность, — объяснила Катя. — Был один раз тихий день, и мы с Лелей пошли в воронку попробовать пистолет. Была у нас такая большая, очень большая воронка от крупной фугасной бомбы. И мы, значит, залезли в эту воронку, чтоб никто не видел, поставили бутылку и стали в нее стрелять. И мы так увлеклись, что выпустили все три обоймы. Ну тут, понимаете, началась тревога, потому что думали, что это подобралась немцы. Мы, конечно, осознали свою ошибку. Но командир полка так пушил нас, так пушил! Ужас! И он отобрал у меня пистолет и сказал, что в другой раз демобилизует.

Однажды во время атаки командир полка был тяжело ранен в правую руку. Он потерял сознание. И Катя вытащила его с поля боя. Потом ей поручили отвезти его в Москву, в госпиталь. Она сдала его и вышла в город. Она горделиво шла по родной Москве в полной военной форме и только подумала, что хорошо бы встретить кого-нибудь из друзей, как тут же и встретила подружку Люсю.

А Люся все время мечтала попасть на фронт и, как только меня увидела, так прямо задрожала вся «Ты, говорит, как попала на фронт?» Я ей рассказываю, как попала, и как воевала, и как привезла сейчас раненого командира полка, и что со мной легковая машина с шофером, и что завтра я возвращаюсь об-

ратно в часть. А Люся говорит: «Катя, ты должна взять меня с собой». А сама просто не может стоять на месте. Она не такая, как я. Она такая высокая, тоненькая, красивая девушка. Такая нежная. И она гораздо старше меня. Ей уже было лет двадцать, и она кончала университет. Я говорю: «Люся, как я тебя возьму, чудачка ты! Ты что думаешь: на фронт так легко попасть? По дороге, говорю, двадцать раз будут проверять документы». А потом мы думали, думали и сделали так. Пошли в госпиталь к нашему командиру полка и стали его просить. Ну, он, конечно, знал, что мы, девушки, неплохо работали у него в полку. И он тогда левой рукой, потому что правая у него была раненая, написал, что принимает Люсю в полк дружинницей. И на утро мы с ней выехали, и так всю дорогу нам было весело, что мы все время

в полку были три дружинницы, и их распределили по трем батальонам. Они пропахли дымом и порохом, их руки загубели. Шли августовские наступательные бои, и полк каждый день, прогрызая оборону немцев, продвигался на несколько сот метров. Они выполняли свою обычную работу — переползали от бойца к бойцу и перевязывали раненых. Иногда раздавался крик: «Санитар!» Они искали, кто крикнул, и ползли к нему. Девушки была так заняты, что почти не встречались.

— И вот как-то, — сказала Катя, — привезли в полк

подарки, и мы встретились возле командного пункта полка. Нам на троих пришлось одно яблоко, правда, громадное. Вот такое. И одна пара тоненьких дамских чулок со стрелкой. Знаете, есть такие. Мы, конечно, друг дружке не говорили, но каждая, безусловно, хотела надеть такие чулки, потому что ведь мы девушки. И мы держали в руках эти тоненькие шелковые чулки со стрелкой, и нам как-то смешно было на них смотреть. Я говорю: «Возьми их себе, Люся, потому что ты самая старшая и самая хорошенькая». А Люся говорит: «Ты, Катя, наверно, сошла с ума. Их нужно просто разделить». Мы похотели тогда и разрезали их на три части, и каждой вышло по паре носок, и мы их стали надевать под портянки. А яблоко мы тоже разделили на три части и съели. И потом мы весь вечер провели вместе и вспоминали всю нашу жизнь. Люся сказала тогда: «Давайте, девочки, поклянемся, что каждая убьет по пять немцев, потому что я уверена, что мы в конце концов станем бойцами». Мы поклялись и на прощанье расцеловались. И хорошо сделали, потому что я Люсю больше и не увидела. На другой день полк пошел в атаку, и Люся была убита. Ее сильно ранило миной. Ее унесли метров за пятьсот в тыл. И вот тогда она пришла в себя и увидела, что вокруг стоят несколько санитаров (ее очень жалели все). Она посмотрела на них и крикнула: «Вы что стоите здесь? Там бой идет! Идите работать!» И умерла. Только мне об этом рассказали

потом. А тогда был такой день, когда моя судьба совсем перевернулась.

Вот что произошло с Катей в тот день. На правом фланге наступающего батальона был установлен наш пулемет, который прочесывал лес, где сосредоточились немецкие автоматчики. Неожиданно пулемет замолчал.

— Ну, я, конечно, поползла к нему, думала, что пулеметчик ранен. Подползаю и вижу, что он убит, приткнулся к пулемету и сжимает ручки. Я тогда оторвала его пальцы от пулемета и сразу приляглась стрелять. Подползает командир батальона. «Ты что, говорит, делаешь, Катя?» Я испугалась: думала, не смогу стрелять. И говорю: «Я, товарищ капитан, еще в школе обучалась пулемету». А он говорит: «Ну, ладно, давай, Катюша, стреляй, прочесывай лес». Я говорю: «Это как раз я и хочу делать». «Правильно, говорит, валяй! Будешь теперь бойцом. Дай им жизни!» Мы тогда выбили немцев из леса. Наш полк здорово наступал. Заняли село. И там, на старом сельском кладбище, немец нас сильно обстрелял из орудий. Такой обстрел был! Я такого не помню! Все перерыл. Разрывами выбрасывало мертвых из могил, и даже целзя было понять, кто когда умер — раньше или теперь. Я тогда спрятала голову под пулемет. Ничего. Отлежалась. Потом мы опять пошли вперед. Только тяжело было везти пулемет с непривычки. Потом я привыкла.

Пулеметчицей Катя пробыла больше месяца и зна-

чительно перевыполнила план, предложенный Люсей. Она была очень хорошей пулеметчицей, с прекрасным глазомером и выдержкой.

В сентябре Катя была тяжело контужена, и ее отправили в Москву, в госпиталь. Она пролежала там до ноября. А когда вышла, ей дали бумажку, что для военной службы она больше не годится и направляется для продолжения образования.

— А какое может быть образование, пока мы не псбили немцев! — сказала Катя, холодно усмехаясь. — Я и перезабыла все за полгода. Я ужасно загрустила. Даже не знала, где мой полк стоит. Что было делать? Я походила, походила и записалась ~~дальше~~ парашютистов-автоматчиков.

— Как же вас приняли, Катя, — спросил я, — раз у вас такая бумажка из госпиталя?

— А я им не показала этой бумажки. Я им показала совсем другую бумажку — из полка.

Я посмотрел ее. Это была очень хорошая бумажка. Там говорилось, что Катя — храбрый боец-дружинница, а потом пулеметчик, что она представлена к ордену. Приятно носить такую бумажку в кармане гимнастерки. Когда я читал эту бумажку, Катя немного покраснела и потупилась.

— Одним словом, приняли, — сказала она. — Теперь мы проходим специальное обучение. Говорят, скоро на фронт.

## АМЕРИКА И АМЕРИКАНЦЫ

С той самой минуты, как из океана навстречу вам начинают подниматься ньюйоркские небоскребы, вы уже можете почувствовать стремительный темп американской жизни. Это ощущение стремительности не покидает вас до конца путешествия.

Соединенные Штаты — страна быстрого темпа. И дело не в том, что автомобили бегают там быстрее, чем в Европе (в Чикаго, например, на Мичиган-авеню, не разрешается ездить медленнее определенной скорости), что и обед у американца уходит десять—пятнадцать минут и что бегущие огни электрических реклам создают у вас ощущение непрерывного движения. Это все чисто внешние признаки. Секрет американского темпа жизни в быстроте и чистоте работы людей.

Основой человеческого существования является труд. И вот всякий труд в Америке, будь это труд металлиста, стенографистки, прачки, чиновника, лифтера или писателя, доведен до подлинного профессионального блеска. В Америке, как и во всем мире, есть

лучшие и худшие работники, более и менее одаренные люди; но жизнь делает средний человек, человек обычных, средних способностей. Таких людей — огромное большинство.

В течение всего нашего путешествия в США мы видели, как хорошо и быстро работают американцы.

Вот три заповеди американцев: 1) держать слово, 2) уважать чужое время и 3) помогать друг другу в обыденной жизни.

Слово, сказанное рядовым американцем, равносильно его подписи. Это неписанный закон, и американцы свято его соблюдают. Это вошло в привычку у этого поколения в поколение всасывается в молодых поколениях. Если американец что-нибудь обещал, вы можете быть совершенно уверены, что он выполнит, чего бы это ему ни стоило.

Американец дорожит вашим временем, знает, что вы дорожите его временем. Это основа американского темпа. Ни минуты задержки, ни секунды задержки. Больше всего американец не любит ждать. Я никогда не забуду, как журналисты, собравшиеся на прессконференцию к президенту Рузвельту, стали стучать в двери его кабинета, когда прошло три—четыре минуты сверх назначенного времени. Они делали это, конечно, шутливо; но они все-таки стучали, настаивая на своем американском праве не ждать ни минуты лишней. Если в какое-нибудь учреждение, скажем, в Нью-Йорке, утром пришло город-

ское письмо, то ответ должен быть получен заинтересованным лицом в то же утро. В течение четырех месяцев пребывания в Америке я не знал ни одного случая, когда мне пришлось бы кого-нибудь или чего-нибудь ожидать.

Американцы с удивительной легкостью и простогой умеют приходить друг другу на помощь в затруднительном положении. Это одна из самых замечательных черт национального характера. Американец — человек деловой. Он знает, что если он помог вам, то кто-нибудь обязательно поможет ему самому, когда ему будет плохо. Поэтому так легко и приятно путешествовать по Америке. Вы твердо знаете, что где бы вы ни были — на широкой дороге под Нью-Йорком или на узкой (и тоже хорошей) дороге в пустыне, — что бы с вами ни случилось, вам поможет первый же американец, который вам повстречается. И сделает он это без всяких просьб с вашей стороны. Он просто спросит: не нужна ли вам помощь? Если нужна, он вам поможет. А потом уйдет, не теряя времени на излишние разговоры и не ожидая вашей благодарности.

Вероятно, в этих трех чертах народного характера: твердости слова, умении ценить время и стремлении прийти на помощь — заложена основа того громадного технического и культурного прогресса, к которому пришла Америка за последние полстолетия.

Я помню, как в детстве отец говорил мне:

— В Америке делают стандартные вещи, и они плохого качества.

В этом лет тридцать назад были уверены все европейцы. В Америке происходила в то время величайшая техническая революция — переход к стандарту и поточному производству. В Европе этого не понимали. Да и на первых порах стандартные изделия только завоевывали себе путь и были действительно худшего качества. На Америку не умели смотреть как на страну, находящуюся в непрерывном и очень быстром движении. Она имела твердо установившуюся репутацию. Там небоскребы, там Нат Пинкертон, там Ниагарский водопад, и там делают плохие вещи. Об американцах было известно, что они предпочитают бородки и звездные жилеты, и они любят класть жидкий кофе на стол. Американцы отвечали нам тем же. Там считалось, что в России по улицам ходят мавды, а русские сплошь носят громадные бороды и занимаются преимущественно тем, что пьют водку.

Нет ничего страшнее так называемых ходячих представлений о чем-либо. Уже давно русская интеллигенция восхищалась Марком Твенем и Эдгаром По. Уже давно русские классики были переведены на английский язык и стали популярными среди американской интеллигенции. А широкие народные представления об Америке и России или вовсе не менялись или менялись слишком медленно.

Страны, находящиеся в быстром движении (а в этом смысле СССР очень похож на США), обгоняют сложившиеся репутации. Это поистине молодые страны. Они мужают не по дням, а по часам, удивляя весь мир своим стремительным ростом.

Невежественный ротный писарь Гитлер, все сведения которого о других странах почерпнуты из чтения шпионских донесений и выяснения того, где и что плохо лежит, — он совершенно не знал Америки. Он думал, что если в Америке немногочисленная сухопутная армия, если военная служба в мирное время считается там малопривлекательным занятием, если демократический образ правления делает решение всякого вопроса (в особенности такого вопроса, как объявление войны) весьма сложным, с Америкой можно безнаказанно вступить в конфликт. Она не решится.

Но Америка решилась.

С такой же страстью, с какой она отстаивала мир, она отстаивает сейчас войну против гитлеровской Германии, войну беспощадную, войну до победы. С такой уверенностью, с какой раньше американцы отзывались о военной службе как о малопривлекательном занятии, они создают сейчас громадную, могучую армию. С тем же уменьем и быстротой, с какой строили американцы автомобили и рефрижераторы, они строят сейчас танки и аэропланы.

Поистине величайший переворот произошел сейчас в сознании американцев, если даже сенатор Най, один

из упорнейших сторонников изоляционизма, заявил, что он приветствует создание второго фронта в Европе.

Изоляционизм Соединенных Штатов, практиковавшийся со времени установления доктрины Монро, имел смысл лишь в те времена, когда мировая техника стояла на низком уровне и сообщение со Старым Светом было затруднительным. Современная техника показала, что война не знает отдаленных территорий. Американцы поняли, что, защищая Европу от Гитлера, они защищают самих себя.

Для американца понять — значит делать. Заслуживает внимания быстрота, с какой перешли Соединенные Штаты с мирных рельсов на военные.

Но дело не только в том, что с мирных рельсов на военные перешла прославленная американская техника, не только в том, что США ежедневно выпускают два больших торговых парохода в один день как фордовского завода с мая производит 4000 машин каждый час по гигантскому бомбардировщику. Дело также в том, что на сцену выходит американский солдат, прекрасно экипированный, вооруженный и обученный солдат, храбрый, физически выносливый, образованный, веселый, легкий человек. История воевшего дела не забыла, как в 1918 году американские солдаты во Франции шли во весь рост на германские пулеметы. Они не успели как следует обстреляться, привыкнуть к войне. Но они успели показать миру свою безупречную храбрость.

Традиции храброй американской армии живы. Американцы—ковбои Аризоны, рабочие Пенсильвании и фермеры Среднего Запада — хотят сражаться на территории Европы с таким же безупречным умением и талантом, с каким они делают любую работу.

Нет более верной и преданной дружбы, чем солдатская дружба, возникающая на фронте. Она скреплена страданием. Друзья делят табак и хлеб, они спят, укрывшись одной шинелью, плечом к плечу идут они в атаку, и друг выносит раненого друга из огня. Такую дружбу ничто не может сломить.

Содружество народов СССР, США и Великобритании крепнет в войне, которую они ведут против общего врага.

Мы плохо знали друг друга. По-настоящему мы познакомимся лишь теперь. И теперь мы говорим вместе:

**— Смерть гитлеризму!**

---

## «ПАДЕНИЕ ПАРИЖА»

Только человек, глубоко и нежно любящий Францию, способен так громко и так честно рассказать людям о падении Парижа, как это сделал Эренбург в своем романе.

Лет десять назад Эренбург просто для развлечения занимался фотографией. Он бродил по Парижу и делал снимки. Он пользовался при этом угловым видоискателем. Люди, которых он снимал, не подозревали об этом. Он снимал консьержек, старичков, грузчиков, торговков, безработных, букинистов. Это в то время не интересовало мир Больших бульваров и Елисейских полей. Он увлекался окраиной, старинными грязными улицами, рынками, дешевыми ресторанчиками, где едят без скатертей и пьют простое вино. Он издал книгу своих фотографий с коротенькими острыми подписями и назвал ее «Мой Париж». Это был не Париж иностранцев. Это был Париж французов. Люди на фотографиях выглядели совершенно естественно. Ведь они не подозревали, что их снимают.

Прошло время. Париж Эренбурга оказался куда более обширным.

Эренбург прожил в Париже едва ли не половину своей жизни. И все это время его, если можно так выразиться, писательский аппарат непрерывно выхватывал из жизни и сохранял на пленке памяти рабочих и министров, поэтов и маленьких актрис, депутатов и дельцов, художников и генералов, банкиров и журналистов. Все они входили в писательский архив Эренбурга, чтобы в какой-то момент ожить и стать персонажами превосходного романа.

Я прочел роман, не отрываясь, в два дня. То, что я пишу сейчас, — не литературное исследование и не критическая статья. Это — просто мнение читателя, который взволнован прочитанным. Очень может быть, что женщины не удались Эренбургу в этом романе. Возможно также, что есть в романе сырые, поспешно написанные страницы, которые не остаются в памяти. Но что мне за дело до этого, если, читая роман, я снова переживал последнее пятилетие, самое страшное пятилетие в истории человечества, если я с жадностью голодного глотал страницу за страницей, если я получил совершенно точный ответ на вопрос — как такое могло случиться?

Для нас, русских, советских людей, со времени прихода Гитлера к власти сразу же стало ясно, что это идет война и что ее надо остановить во что бы то ни стало. Все усилия советского правительства, на-

правленные в эту сторону, разделялись и понимались народом. Мы понимали также, что одно лишь наше правительство не может предотвратить войну, что для этого нужны усилия всех демократических стран. И вот мы с ужасом и изумлением наблюдали, как правительство Эдуарда Даладье одну за другой сдавали позиции Гитлеру. Абиссиния, Испания, Чехословакия! Мы понимали, что от Даладье нельзя ожидать бескорыстной помощи несчастным народам. Но то, что они делали, было совершенно очевидным убийством их собственных стран. Даже маленькому школьнику в Советском Союзе было понятно, что после Испании и Чехословакии придет очередь Польши, а за нею и самой Франции. Но почему Франция бездействовала? Предательство? Но почему не уничтожают предателей? Почему с покорностью ~~бьются~~ умигаются французы на бойню, где ждет их нож мясника? Это было непонятно, чудовишно. Это было, как во сне, когда мозг с удивительной ~~точностью~~ понимает размеры опасности, но ноги и руки не двигаются.

Да. Мы в России знали, куда идет Франция, и пока это было возможно, предупреждали французов. Но французские руководители, все эти мюнхенцы, успокаивали себя мыслью, что Гитлер пойдет на Восток. Мы поняли, что рассчитывать придется на свои собственные силы, и мы стали делать то, что подсказывал нам здравый смысл, — готовить оборону

выгадывая каждый день, каждый час. История показала, что мы были правы. Но что думала в те критические времена Франция? Что она чувствовала? Как переживала все это? На эти вопросы не могли ответить газеты. На них могла ответить только литература. И можно гордиться тем, что ответила на них русская литература.

Эренбург был в Испании. Он прошел сквозь всю испанскую эпопею с карандашом блестящего журналиста и горячим сердцем поэта. После разгрома он вернулся во Францию. Он был полон горечи. Мне кажется, что именно тогда понял он размеры предательства, ужаснулся этим размерам, ясно увидел бездну, к которой неуклонно шла Франция, совершая свое попятное движение. Эренбург задумал книгу о падении Парижа еще задолго до падения Парижа. Финал своей книги он увидел собственными глазами. Он видел, как немцы входили в Париж. Произошло то, что должно было произойти, что не могло не произойти. И Эренбург, возвратившись в Москву, тотчас же принялся за роман. Он писал его, не отрываясь, со страстью человека, который видел, и с уверенностью человека, который понял.

Нет, пожалуй, ни одной стороны французской жизни, которой не осветил Эренбург в своем романе. С акуратностью и терпением часовщика он разобрал до мельчайших деталей последние годы жизни Третьей республики, желая узнать, почему остановились

эти дорогие золотые часы. Он разобрал их и разложил на своем столе все винтики, камни, крохотные пружинки. И он нашел, что некоторые детали сносились и уже не работают, а некоторые до такой степени проржавели, что остается только одно — выбросить их на помойку. Но часы все-таки существуют. Самое ценное осталось в них. Заржавевшие пружинки будут заменены, механизм обновится, и часы пойдут. Франция будет жить. Последние строки романа великолепны:

«Андрэ улыбался. Отошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде всегда, черные переплеты. В чердачном окне маячит цветок. Бродят голодные коты, плачет цыганский ребенок, кричит новорожденный. Улица Ишу Полдень. А завтра день я найду, обязательно найду — свет и праздник, в небе — мед, маки, лазурь. Париж днем!..»

Он не слышал, как, надрываясь, кричал громкоголосый ворител: «Время! Время!»

Писатель знает: в конечном счете в мире побеждает хорошее, дурное должно уйти. Время! Время!

По своему размаху роман должен был бы стать эпопеей, энциклопедией французской жизни последних лет. Но он не стал ими. Это лежит в особенностях стиля Эренбурга. То, что иногда может показаться нам поспешностью писателя, есть его стиль. Это, выражаясь языком войны, не позиционная проза с солидными блиндажами и укреплениями. Это маневрен-

ная проза. Это — стремительное глубокое движение, движение безостановочное. Когда писатель наталкивается на трудность, на сопротивление материала, он не останавливается, он ищет других, обходных путей и находит их. Основа эренбургского стиля — темп. Темп во что бы то ни стало. Ни минуты промедления. Как только материал был понят писателем, как только каждая деталь разобранных им событий стала ясна, его уже ничто не задерживало — он двинулся вперед, и читатель двинулся вслед за ним, поглощая страницу за страницей и с каждой новой страницей все яснее понимая, что такое могло произойти.

Предательство! Вот что погубило Францию. Бессердечные, беспринципные депутаты, стремящиеся к министерским постам с грубостью и нахальством носорогов; пробирающихся к водопою. Продажные журналисты, меняющие своих хозяев с равнодушием официантов. Зажравшиеся, цинически безразличные ко всему на свете и в то же время восхищенные собственным красноречием парламентские лидеры. Хапжествующие реакционеры, совершенно сознательно делающие ставку на Гитлера и по логике предательства превращающиеся в его лакеев. Генералы, не понимающие, что их военный консерватизм равносителен измене родине. Конечно, временное падение Парижа, а с ним и Франции есть результат не только предательства в его чистом виде. Но предательство — один из важнейших моментов.

Эренбург почти что с научной точностью проанализировал в своем романе не только механику вольного и невольного предательства, но его психологию и логику.

Для предателя нет партий. Он может проникнуть в любую партию, предатель своей родины, сознательный или бессознательный немецкий агент. Как возмутился бы Тесса, старый радикал и парламентарий, если бы ему сказали, что он агент Гитлера! Но он был им, и политическая карьера привела его туда, куда и должна была привести, — в Виши. И она приведет его в Париж, прямо к немцам, и он станет их прямым агентом, и никого это не удивит — ведь Тесса ничем другим и не мог кончить.

Образ радикала Тесса — настоящий шедевр современной литературы. Он построен писателем с железной логикой. Это тип. Эренбург вывел в своем романе огромное количество людей, хороших и плохих, молодых и старых, штатских и военных, умных и глупых. Большинство из них сделаны хорошо, а политические деятели — просто превосходно. Но Тесса, конечно, — номер первый. Он написан Эренбургом с компассановским блеском. Человек-компромисс. С удивительной тонкостью определил Эренбург место таких, как Тесса, в Третьей республике.

Вот коротенькая сцена. Ее невозможно забыть. Тесса после предательства и разгрома Франции обосновался в Руаяя, возле Виши. Уже было все — бег-

ство, бомбежки, трупы женщин и детей, отчаяние, потом внезапные надежды: «Они пойдут на Лондон», — потом снова отчаяние, правительство переменяло несколько городов, Тесса растерял возненавидевших его сына и дочь (они стыдились фамилии Тесса), Тесса, наконец, ударили по лицу, — было все, после чего остается одно — умереть. И вот Тесса в Руайя, в кондитерской «Маркиза де Севиньи», которая стала модной у парижских беглецов. Тесса неожиданно встречается со своим старым приятелем Дессером.

«— И ты тут? Мир действительно тесен! Пережить все, что мы пережили, и встретиться у «Маркизы де Севиньи»!

Дессер молчал. Тесса не унимался:

— Ты плохо выглядишь. Нехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки! Я лично ожидал худшего. А все обошлось... Ты знаешь, наши дурачки — Мандель и компания — хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство нации... Теперь скоро все кончится — немцы пойдут на Лондон. Дело двух—трех месяцев... Мы вышли из игры, и это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь — теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно...

Дессер больше не смеялся; он сказал задумчиво:

— Это хорошо, что ты ничего не понимаешь... Пей шоколад и не думай! Ведь ты — клоп. Не сердись на

меня, но ты — старый, почтенный клоп. И ты жил в старом, почтенном доме. Теперь дом сгорел. А клоп еще жив. Но сколько ему осталось?.. Мне тебя жаль — вот такого, как ты есть...

— Пожалей лучше себя! Меня нечего жалеть! — Тесса кричал от обиды. — Я не Фуже. Я человек новых концепций.. Это ты цепляешься за прошлое: народный фронт, либерализм, Америка... Мы очистим страну от гнили.. Я подготавливаю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину, и прибавим наши традиции, культ семьи, французское благородие, а тогда...

Дессер не слушал; он задумчиво повторял:

— Бедный, старый клоп...»

Не менее блестяща сцена прожженного, выжженного, продажного журналиста, редактора Жолио. Он перебрался в Париж и редактирует там французскую газету. Ее никто не читает. Но хозяин есть. И хозяин платит. Правда, хозяин этот — немец. Но деньги есть деньги. Жолио сделал последнюю ставку и теперь ждет результатов игры. Но он марселец, веселый, остроумный человек (есть и такие предатели). Вот его разговор с женой.

«← Бретейль приехал, — сказал Жолио жене. — Скоро все покажутся, и Лаваль, и Тесса.

Жена вздохнула:

— Легче от этого не станет. Я сегодня обегала

весь гор̄од̄ — пет мыла. Вообще ничего нет. Все вывезли.

— Ясно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу, как голову сыра... Смешно! Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг... (Жюлио закрыл окно и перешел на шопот). Вдруг их все-таки побьют? Ты представляешь себе, какой невероятный скандал! В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска. А Брейтеля повесят...

— Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют.

...весело закивал головой:

...изначально! Но все-таки это здорово.. Как их обидеть, разать, бог ты мой!.. — Ради этого стоит погнаться на фонаре...»

Роман Эренбурга — глубокое произведение. Честь и слава писателю, который нашел в себе физические и моральные силы тотчас же после катастрофы отправиться по ее свежим следам, исследовать ее причины, проанализировать их и с вдохновением поэта написать свой роман в дни великого испытания для нашей родины, для всего мира. Как хорошо, что работоспособность Эренбурга равна его таланту.

Если бы Риомский процесс велся честно и на скамье подсудимых сидели бы те, кто должен был сидеть, роман Эренбурга мог бы стать одним из сильнейших документов обвинения.

Такой процесс будет.

Жолио может быть доволен. Ради этого ему придется повисеть на фонаре.

С помощью уголовного видоискателя Эренбург снимал когда-то людей, и снимки его были естественны и правдивы.

Сейчас он написал необыкновенно правдивую книгу. Его «угловым видоискателем» была писательская честность.

---

## СЕВАСТОПОЛЬ

Прошло двадцать дней, как немцы начали наступать на Севастополь. Все эти дни напряжение не уменьшалось ни на час. Оно увеличивается. 86 лет пятая часть каждого месяца обороны Севастополя был приравнен к году. Теперь к году должен быть приравнен каждый день.

Сила и густота огня, который обрушивает на город неприятель, превосходят все, что знала до сих пор военная история. Территория, обороняемая нашими моряками и пехотинцами, невелика. Каждый метр ее пристреливается всеми видами оружия. Здесь нет тыла, здесь есть только фронт. Ежедневно немецкая авиация сбрасывает на эту территорию огромное количество бомб, и каждый день неприятельская пехота идет в атаку в надежде, что все впереди снесено авиацией и артиллерией, что не будет больше сопротивления. И каждый день желтая, скалистая севастопольская земля снова и снова оживает и атакующих немцев встречает ответный огонь.

города почти нет. Нет больше Севастополя с его акациями и каштанами, чистенькими тенистыми улицами, парками, небольшими светлыми домами и железными балкончиками, которые каждую весну красили голубой или зеленой краской. Он разрушен. Но есть другой, главный Севастополь, город адмирала Нахимова и матроса Кошки, хирурга Пирогова и магросской дочери Даши. Сейчас это город моряков и красноармейцев, из которых просто невозможно кого-нибудь выделить, поскольку все они герои. И если мне хочется привести несколько случаев героизма людей, то потому лишь, что эти случаи типичны.

В одной части морской пехоты командиры взводов лейтенант Евтихеев и техник-интендант 2-го ранга Глущенко получили серьезные ранения. Они отказались уйти с поля сражения и продолжали руководить бойцами. Им просто некогда было уйти, потому что враг продолжал свои атаки. Они отмахнулись от санитаров, как поглощенный работой человек отмахивается, когда его зачем-нибудь зовут.

Пятьдесят немецких автоматчиков окружили наш взвод, где засела горсточка людей. Но эти люди не сдались: они уничтожили своим огнем тридцать четыре немца и стали пробиваться к своим только тогда, когда у них не осталось ни одного патрона. Дивительный подвиг совершил тут краснофлотец Колещук. Раненый в ногу, не имея ни одного патрона,

он пополз прямо на врага и заколол штыком двух автоматчиков.

Краснофлотец Сергейчук был ранен. Он знал, что положение на участке критическое, и продолжал сражаться с атакующими немцами. Не знаю, хотел ли он оставить по себе память или же просто подбодрить себя, но он быстро вырвал из записной книжки листок бумаги и написал на нем: «Идя в бой, не буду падать сил и самой жизни для уничтожения фашистов, за любимый город моряков — Севастополь».

Вообще в эти торжественные и страшные дни людей поразила потребность написать хоть две—три строки. Это началось на одной батарее. Там кто-то взял портрет Сталина и написал на нем, что готов умереть, не пропуская немцев в Севастополь. Он подписал под портретом несколькими строками свою фамилию, за ним то же самое начали делать другие. Они снова давали родине клятву верности, чтобы сейчас же, тут же сдержать ее. Они повторяли присягу под таким огнем, которого никто никогда не испытал. У них не брали присягу как это бывает обычно: они давали ее сами, желая показать пример всему фронту и оставить память своим внукам и правнукам.

В сочетании мужества с умением заключена вся сила севастопольской обороны лета 1942 года. Севастопольцы умеют воевать. Какой знаток военно-морского дела поверил бы до войны, что боевой корабль в состоянии подвезти к берегу груз, людей и сна-

ряды, разгрузиться, погрузить раненых бойцов и эвакуированных женщин и детей, сделав все это в течение двух часов, и вести еще интенсивный огонь из всех орудий, поддерживая действия пехоты! Кто поверил бы, что в результате одного из сотен короткого авиационного налета, когда немцы сбросили 800 бомб, в городе был всего один раненый! А ведь это факт. Севастопольцы так хорошо зарылись в землю, так умело боюют, что их не может взять никакая бомба.

Только за первые восемь дней июня на город было сброшено около 9 тысяч авиационных бомб, не считая снарядов и мин. Передний край обороны немцы бомбили с еще большей силой. Не знаю точно, сколько было сброшено бомб и сделано выстрелов по Севастополю и переднему краю за все двадцать дней штурма. Известно только, что огонь непрерывно возрастает, и каждый новый день штурма ожесточеннее предыдущего.

Немцы вынужденно пишут сейчас, что Севастополь — неприступная крепость. Это — не восхищение мужеством противника. Гитлеровцы неспособны на проявление таких чувств. Это примитивный прием фашистской пропаганды. Если им удалось бы взять Севастополь, они заорали бы на весь мир: «Мы взяли неприступную крепость!» Если они захлебнутся, не смогут войти в город, они скажут: «Мы говорили, что эта крепость неприступна».

На самом деле Севастополь никогда не был крепостью со стороны суши. Он укрепился с волшебной быстротой уже во время обороны. Восьмой месяц немцы терпят под Севастополем поражения за поражением. Они теряют людей втрое, впятеро больше, чем мы. Они обеспокоены и обозлены — Севастополь уже давно обошелся им дороже самой высокой цены, которую они сочли бы разумным за него заплатить. Теперь каждый новый день штурма усугубляет поражение немцев, потому что потери, которые они несут, невозместимы и рано или поздно должны сказаться.

Двадцать дней длится штурм Севастополя, и каждый день может быть приравнен к году. Город держится наперекор всему — теории, опыту, наперекор бесчисленному напору немцев, бросивших сюда около тысячи самолетов, около десяти лучших своих дивизий и даже сверхтяжелую, 615-миллиметровую артиллерию, которая никогда еще не применялась.

Самый тот факт, что город выдержал последние двадцать дней штурма, есть уже величайшее военное достижение всех веков и народов. А он продолжает держаться, хотя держаться стало еще труднее.

Когда моряков-черноморцев спрашивают, может ли удержаться Севастополь, они хмуро отвечают:

— Ничего, держимся.

Они не говорят: «Пока держимся». И они не говорят: «Мы удержимся». Здесь слов на ветер не ки-

дают и не любят испытывать судьбу. Это моряки, которые во время предельно сильного шторма в море никогда не говорят о том, погибнут они или спасутся. Они просто отстаивают корабль всей силой своего умения и мужества.

25 июня 1942 г.

---

## ПРОРЫВ БЛОКАДЫ<sup>1</sup>

Лидер «Ташкент» совершил операцию, которая войдет в учебники военно-морского дела как образец дерзкого прорыва блокады. Но не только в учебники войдет эта операция. Она навеки войдет в народную память о славных защитниках Севастополя как один из удивительных примеров воинской доблести, величия и красоты человеческого духа.

Люди точно знали, на что они идут, и не строили себе никаких иллюзий. «Ташкент» должен был прорваться сквозь немецкую блокаду в Севастополь, вывезти боеприпасы, принять на борт женщин, детей и раненых бойцов и, снова прорвав блокаду, вернуться на свою базу.

26 июня, в два часа дня, узкий и длинный голубоватый корабль вышел в поход. Погода была убийственная—совершенно гладкое, надраенное до глянца море, чистейшее небо, и в этом небе занимающее пол-

---

<sup>1</sup> «Прорыв блокады»—последний очерк Е. Петрова, который он не успел закончить.

Врага горячее солнце. Худшей погоды для прорыва блокады невозможно было придумать.

Я услышал, как кто-то на мостике сказал: «Они будут заходить по солнцу».

Но еще долгое время была тишина, и ничто не нарушало ослепительного голубого спокойствия воды и неба.

«Ташкент» выглядел очень странно. Если бы год назад морякам, влюбленным в свой элегантный корабль, как бывает кавалерист влюблен в своего коня, сказали, что им предстоит подобный рейс, они, вероятно, очень удивились бы. Палубы, коридоры и кубрики были заставлены ящиками и мешками, как будто это был не лидер «Ташкент», красивейший, быстрейший корабль Черноморского флота, а какой-нибудь пыхтящий грузовой пароход. Повсюду сидели и лежали пассажиры. Пассажир на военном корабле! Что может быть более странного! Но люди уже давно перестали удивляться особенностям войны, которую они ведут на Черном море. Они знали, что ящики и мешки нужны сейчас защитникам Севастополя, а пассажиры, которых они везут, — красноармейцы, которые должны хоть немного облегчить их положение.

Красноармейцы, разместившись на палубах, сразу же повели себя очень самостоятельно. Командир и комиссар батальона посовещались, отдали приказание, и моряки увидели, как красноармейцы-сибиряки, никогда в жизни не видевшие моря, потащили на нос

и корму по станковому пулемету, расставили по бортам легкие пулеметы и расположились так, чтобы им было удобно стрелять во все стороны. Войдя на корабль, они сразу же стали рассматривать его как занятую ими территорию, а море вокруг — как территорию, занятую противником. Поэтому они по всем правилам военного искусства подготовили круговую оборону. Это понравилось морякам. «Вот каких орлов везем!» — говорили они.

И между моряками и красноармейцами сразу же установились приятельские отношения.

В девять часов сыграли боевую тревогу. В небе появился немецкий разведчик. Раздался длинный, тонкий звоночек, как будто сквозь сердце быстро продернули звенящую медную проволочку. Захлопали зенитные орудия. Разведчик растаял в небе. Теперь сотни глаз через телескопы, стереотрубы и бинокли еще внимательно следили за небом и морем. Корабль мчался вперед в полной тишине навстречу неизбежному бою. Бой начался через час. Ожидали атаки торпедоносцев, но прилетели дальние бомбардировщики «хейнкелы». Их было тринадцать штук. Они заходили со стороны солнца и, очутившись над кораблем, сбрасывали бомбы крупного калибра (мне показалось, как-то неторопливо сбрасывали).

Теперь успех похода, судьба корабля и судьба людей на корабле — все сосредоточилось в одном человеке. Командир «Ташкента», капитан 2-го ранга Ва-

сильный Николаевич Ярошенко, человек среднего роста, широкоплечий, смуглый, с угольного цвета усами, не покидал мостика. Он быстро, но не суетливо, перешел с правого крыла мостика на левое, щурясь смотрел вверх и вдруг, в какую-то долю секунды приняв решение, кричал сильным сорванным голосом:

— Лево на борт!

— Есть лево на борт! — повторял рулевой.

С той минуты, когда началось сражение, рулевой, высокий голубоглазый красавец, стал выполнять свои обязанности с особенным шиком. Он быстро поворачивал рулевое колесо. Корабль, содрогаясь всем корпусом, отворачивал, проходила та самая секунда, которая, как положено в банальных романах, кажется людям вечностью, и справа или слева, или вперед по носу, или за кормой в нашей струе поднимался из моря грязновато-белый столб воды и осколков.

— Слева по борту разрыв! — докладывал сигнальщик.

— Хорошо, — отвечал командир.

Бой продолжался три часа почти без перерывов. Пока одни «хейнкели» бомбили, заходя на корабль поочередно, другие улетали за новым грузом бомб. Мы жаждали темноты, как жаждет человек в пустыне глотка воды. Ярошенко неумоимо переходил с правого крыла на левое и, прищурившись, смотрел в небо. И за ним поворачивались сотни глаз. Он казался всемогущим, как бог. И вот один раз, проходя мимо

меня между падением двух бомб, бог 2-го ранга вдруг подмигнул черным глазом, усмехнулся, показав белые зубы, и крикнул: «Ни черта! Я их все равно обману!»

Он выразился более сильно, но не все, что говорится в море во время боя, может быть опубликовано в печати.

Всего немцы сбросили сорок крупных бомб, примерно по одной бомбе в четыре минуты. Сбрасывали они очень точно, потому что, по крайней мере, десять бомб упали в то место, где бы мы были, если бы Ярошенко вовремя не отворачивал. Последняя бомба упала недалеко от левого борта уже в сумерках, при свете луны. А за десять—пятнадцать минут до этого мы с командой наблюдали, как один «хейнкель», весь в розовом дыму, повалился вслед за солнцем в море.

Бомбардировка окончилась, но напряжение не уменьшилось. Мы приближались к Севастополю. Уже была ночь, и в небе стояла громадная луна. Силуэт нашего корабля отлично рисовался на фоне лунной дорожки. Когда он был примерно на траверзе Балаклавы, сигнальщик крикнул:

— Справа по борту торпедные катера!

Орудия открыли огонь. Трудность положения заключалась в том, что ночью нельзя увидеть торпеду и отвернуть от нее. Мы ждали, но взрыва не было. Очевидно, торпеды прошли мимо. Корабль продолжал

идти полным ходом. Катеров больше не стало видно. Вероятно, они отстали.

И вот мы увидели в лунном свете кусок скалисто-земли, о котором с гордостью и состраданием думает сейчас вся наша советская земля. Я знал, как невелик севастопольский участок фронта, но у меня сжалось сердце, когда я увидел его с моря. Таким он казался маленьким. Он был очень четко обрисован непрерывными вспышками орудийных залпов. Огненная дуга. Ее можно было охватить глазом, не поворачивая головы. По небу непрерывно двигались прожектора и вдоль них медленно текли вверх огоньки трассирующих пуль. Когда мы пришвартовались к пристани и прекратился громкий шум машины, сразу стала слышна почти непрерывная канонада. Севастопольская канонада июня 1942 года!

Командир все еще не уходил с мостика, потому что бой, в сущности, продолжался. Был только новый этап его. Нужно было войти туда и пришвартоваться там, куда до войны никто не решался бы войти на таком корабле, как «Ташкент», и где ни один капитан в мире не решился бы пришвартоваться. Нужно было выгрузить груз и людей. Нужно было успеть вывезти раненых и эвакуируемых женщин и детей. И нужно было сделать это с такой быстротой, чтобы можно было уйти еще затемно. Командир знал, что немцы будут ждать нас утром, что уже готовятся самолеты, подвешиваются бомбы. Хорошо, если это будут



лится, если выбьется из сил и станет та  
его спасли. Но что делать теперь? Тем  
пассажиры — женщины, дети, раненые  
будет спасать корабль или идти  
дно.

Корабль вышел из Севастополя

